

Маргарита Сосницкая

С первого взгляда



18+

Маргарита Сосницкая
С первого взгляда

«ЛитРес: Самиздат»

2012

Сосницкая М. С.

С первого взгляда / М. С. Сосницкая — «ЛитРес: Самиздат»,
2012

Архитектор жизни – любовь. Он строит судьбу, даже если её ломает или заставляет пересмотреть взгляды на мир и поставить любовь и искусство выше религии. Любовь, которая продолжается и после жизни. В оформлении обложки использованы изображения из архива автора.

© Сосницкая М. С., 2012

© ЛитРес: Самиздат, 2012

Содержание

(Повесть)	6
1	6
2	8
3	9
4	11
5	13
6	14
7	16
8	18
9	19
10	21
11	23
Институт растворения	26
1	26
2	28
Конец ознакомительного фрагмента.	29

С первого взгляда
Сборник повестей и рассказов
С
первого
взгляда

(Повесть)

1

Он курил, пил кофе и никогда не делал зарядку. Курил по две пачки в день, любимым видом спорта считал автомобиль, и о сибирском здоровье его деда можно было догадаться только по прозрачным льдинкам в глазах, но и те таяли при каждой улыбке и разливались полноводьем доброты по узким скулам и складкам у рта, переходящим в усы, бороду, неожиданно седую на молодом ещё лице. Василий Дмитриевич Подлинник – было его фамилия, имя, отчество, преподавал он хитроумную науку в главном здании Московского университета, а сейчас сидел в преподавательской перед компьютером с бегущей строкой на мониторе «Спешите делать добро!» и смотрел в его правый угол, где пульсировало точное время. Василий Дмитриевич Подлинник дожидался аспирантку, которой он был назначен руководителем.

Аспирантка тем временем спешила к нему на собеседование, быстро шагая от метро, и тоже поглядывая на часы, только не в компьютере, а на руке. Внешность её была проста, тысячи таких девушек ходит по улицам столицы, с открытым, правильным лицом, высокой, правильной фигурой; только у Любы Несницкой – так звали аспирантку – эта простота подкреплялась ещё длинной светло-русой косой, туго заплетённой и болтавшейся ниже спины в такт торопливых шагов. Любе Несницкой скоро исполнится двадцать три года, она уже закончила университет и сделала свой выбор – связать с ним судьбу профессорской стезей.

Она прибавила шагу: потом, после встречи ей предстояло сделать массу дел, кое-кому позвонить и в довершение успеть на электричку, ибо сейчас был месяц август, и она жила с родителями на даче почти в часе езды от Окружной дороги.

Она вбежала в преподавательскую, не сбавляя скорости; так что Подлинник, повернувшись к ней на вращающемся табурете, увидел её запыхавшуюся, румяную, ещё летящую по инерции и изрёк непреднамеренно бархатным полубасом:

– Да вы присядьте, барышня, – усадил её рядом и стал показывать картинки на мониторе.

Когда она отдышалась, перешёл к делу:

– Ну-с, давайте ваши материалы. Хотите чаю? У нас это запросто.

Через минуту шумел электрический чайник. Пакетики чая в пластмассовых стаканчиках были залиты кипятком, а рядом с компьютером появилась пачка рафинада.

– Пойдёмте, – Подлинник опустил по три куса в стакан и взял их в руки, – посидим в нашем кожаном салоне.

В холле второго этажа стояли кожаные диваны и кресла сталинских времён и круглый массивный стол той же эпохи, а из окна был вид на пол Москвы. Сели, Подлинник закурил сигарету.

– Курите? – предложил ей.

Она мотнула головой.

– Ну, что ж, – убрал он пачку, – расскажите, Любовь... мм-да, интересное имя. Любовь, ох-хо..., как вы выщли на эту тему?

Несницкая начала говорить и к удивлению своему говорила легко, не запинаясь, без обычного своего первоначального стеснения, и мысли вдруг откуда-то брались яблоком на голову. Подлинник курил, щурил в улыбке глаза, изредка кивал и вставлял слово. Несницкая вдруг поймала себя на том, что слушает не его слова, а голос, и от звука этого голоса все мышцы её расслабляются, оказывается, они были скованы, она вся размягчается, постепенно, как при плавном погружении в тёплую ванну. Смущённо и радостно она улыбается удачной остроте В. Д. – так она его уже окрестила про себя, – он тоже легко смеётся и легко предлагает подбросить

до метро на авто или куда ей надо, потому что и ему пора уходить. Несницкая вспоминает про дачу, как это далеко, и говорит, что до метро её больше, чем устроит и отдаёт Подлиннику материалы к теме со всеми своими данными.

Машина не то, чтобы играла большую роль в образе жизни Василия Дмитриевича, а составляла с ним некий конгломерат, служа эдаким суставом между ним и окружающей средой. Излишне упоминать о житейской – общеизвестной – пользе, приносимой коробочкой о четырёх колёсах в мегаполисе, превосходящем иные карликовые государства в три, четыре, шесть раз с амбициями прямо противоположными их карликовости. Машина была ещё средством ухода за прекрасной половиной антропосферы. Согласитесь, открыть даме – она обычно без машины – дверцу перед отбытием, а потом по прибытии, да ещё подать ей руку, чтобы помочь выйти – это уже первый шаг. А сев к Василию Дмитриевичу в салон, она полностью и безраздельно попадала под обаяние его персоны в его маленьком мобильном государстве, пропитанном его запахами и мелодиями отобранных кассет. Пассажиров на борту своего летучего голландца он называл не иначе, как обитателями. И будучи неотъемлимой печёнкой, селезёнкой – это я ниже обосную – машина ещё становилась конструктивным рычагом его сюжетов, а за Подлинником была известна великая литературная страсть, он писал много, писал вдохновенно, о разном, но всегда о главном – о себе. Иначе и быть не может, таков закон писательства, вспомните Флобера: «Мадам Бовари – это я». А почему «его авто» было печёнкой-селезёнкой? Да потому, что если в моторе что-то захрипело или закашляло, он бросал службу, жену, будь хоть она на родильном одре, и бежал к механику. Так бегут в срочную стоматологическую помощь. И автомобиль тогда – не селезёнка, а зуб. Любимый зуб мудрости.

Василий Дмитриевич давно это осознал и давно забыл. К метро он повёз Несницкую окружным путём, через Жмеринку в Киев.

– Я завтра на рыбалку на три дня отчаливаю, – слился он со своим четырёхколёсным сиамским близнецом. – Места глухие, на Селигере, на островах... бывали?

– Не довелось как-то...

– Много потеряли. Там такой угорь водится – деликатес! Его коптят – пальчики оближете, м-да. Хотите поедим?

– Что вы! – испугалась Несницкая: она ж с ним полчаса назад познакомилась. – Столько дел! Хотя тоже люблю глухомань всякую...

– Ну, как хотите, – Подлинник притормозил у метро, вышел и открыл Несницкой дверцу. Как всякий нормальный человек, он знал, что скотское равноправие полов лишило женщину главного воздуха её существования: цветов с посыльным, кофий в постель, подавания пальто в гардеробе и открывания дверцы автомобиля. Знал и, как мог, своими силами исправлял положение.

Несницкая вышла. Он хотел ещё что-то добавить, но затрубили подлетевшие автомобили: надо было уступать дорогу – махнул рукой и, визгнув колодками, умчался.

Несницкая с недоумением оглядывалась вокруг. Где она? Куда попала? Ей вроде куда-то надо было идти. Пыталась вспомнить свои сто дел, по которым нужно было срочно бежать, договариваться, звонить – оказывается, не надо. Она уже пришла отовсюду и насовсем. Отсюда поезд её жизни дальше не идёт. Куда же, доколе и начто брести?

Она стояла в расстерянности... Он же звал её с собой... Почему не поехала? Она не могла попасть в метро, разобраться, где вход, где выход и почему выход стал входом? Зачем она не поехала с ним... Теперь только ждать его возвращения с Селигера...

Потерянно и радостно Любовь, наконец, вошла в метро через выход.

2

Подлинник, оставив Любовь Несницкую, волочился у обочины, решая, куда ехать. Ему только что минуло тридцать восемь лет, десять из которых он провёл в хорошем браке, увенчавшимся столь же любимой, сколь единственной дочкой. Хорош он был тем, что Подлиннику и в голову не приходило развестись; его держал пример родителей, а он сознательно или бессознательно во всём следовал их примеру. И Подлинник никогда не развёлся бы со своей женой, с которой он сроднился, как с ногой или рукой, а с ногой и рукой рождаются, если бы власть не поменялась, не случилось бы нашествия гербалайфщиков и прочих душе-телоспасателей, и его жена не закрутилась бы в мутном водовороте гербалайфщины до такой кондиции, что подала на развод. Он ушёл, оставив ей, вернее, дочери, квартиру, снял – тоже квартиру, но поменьше, на проспекте вождя народов, и там у него вскоре появилась новая как бы жена. Нет, Василий Дмитриевич не был ловеласом, да и о каком ловеластве может идти речь у человека, верой и правдой просидевшего лучшие годы в суконном браке? Просто у него была добрая душа, и когда ему попадалась несчастная, обездоленная опять же каким-то ловеласом, да ещё хорошенькая женщина, он её жалел. Женщина бросалась в слёзы и ему на грудь. Тут уж сердце Василия Дмитриевича совсем разрывалось в клочья и он не мог остановиться в своём сострадании и в желании исправить такую мировую несправедливость. К тому же, неожиданно для себя, в его-то годы, он открыл, что имеет на слабый пол некое гипнотизирующее воздействие, и чем мягче и тише он с ним говорил, тем сильнее было это воздействие. А обнаружив сие, захотел проверить, раз, другой – лиха беда начала. Быстрая смена женщин (после третьей), привела к тому, что смазывались лица, голоса в один сплошной поток, да и чем одна женщина отличается от другой: те же руки, ноги, прелести, просьбы ласковых слов, признаний, клятв. Ааааххх! Его несло с одним желанием – остановиться. Поэтому у него на проспекте вождя народов и проживал с некоторых пор тормоз Эльвира на правах жены. Но там было последнее место на земле, куда его сейчас тянуло. Он вдруг вспомнил, зачем ему понадобилось уехать с работы: из-за факса в Кембридж, и он обрадованно затормозил у агентства экспресс-услуг. Провозившись добрых три четверти часа, чтобы отправить одну несчастную страничку – с этой техникой всегда так, то как авиалайнер, мгновенно доставит к цели, то заклинит, и тогда уже надёжнее на рысках – тяжело вздыхая, Василий Дмитриевич вернулся на борт своего летучего голландца, но и сейчас, несмотря на вакуум в желудке, на проспект вождя его не тянуло. Там уж точно развеется духмяно-сладкое, как тепло от протопленной дровами печки, впечатление от его новой подопечной. И он поехал на ночлег к товарищу, жившему в большой старой коммуналке с видом на старые московские крыши. Этот вид всегда вызывал у него определённые видения с ангелами и трубочистами; он даже в силу литературной наклонности составил философский диалог между этими двумя началами, атрибутами старых крыш. Но сегодня, глядя в давно немывтое окно – товарищ холостякствовал, – он не думал об ангелах, он думал о том, как бы здорово они гуляли по крышам с Несницкой, крепко взявшись за руки, в такой вот наступивший час первых сумерек.

3

За три дня Подлинникской рыбалки воспоминание о нём накатывало на Любовь приятной волной в те минуты, когда она оставалась одна или в эфире передавали романсы, а конкретно о троечке, колокольчике, «этот звон о любви говорит». Как специально, передали его два раза, сначала в мужском, потом в женском исполнении. И оба раза в воздухе, как на плащанице, выткался образ В. Д. Выткался и развеялся.

Появлялся Подгаецкий... Ах, да, Подгаецкий Василёк, её официальный жених. Осенью негласно намечалась свадьба. Это ему она должна была звонить вчера из города, но так и не позвонила. Василёк старше Несницкой на три года, но это по паспорту, а по тому, что пережил, – лет на триста. Он побывал в чеченском плену в следствие контузии, чудом бежал с товарищем, чудом добежал до своих, товарищ умер в пути от ран, и за этот плен, за мучение, дерзкий побег и победу, а остаться живым там – это уже победа, Любовь им восхищалась и жалела. Печать контузии, плена, выжатости оставалась на Подгаецком нестираемой, несмотря на нынешнее преуспевание. Носил он всегда камуфляжную куртку и о чём бы не говорил, всё заканчивалось рассказами о яме, где они сидели, о профилактических побоях, о том, что еду им швыряли, как собакам, если швыряли вообще, мочились на них и т.д., и как у него на ожёгах завелись черви. Он говорил до исступления, до крика, потом делался тихим, как после запоя. В остальном это был вполне уравновешенный человек, а перенесённые испытания очень сильно развили его душевные качества, понятия о чести, товарищеской взаимовыручке. С Несницкой они встречались год, вдвоём им никогда не было скучно, и он открыто строил планы на будущее. Она особо не высказывалась по этому поводу, но и не возражала. Её сердце стучало ровно, она не сомневалась: с Васькой, которого она прозвала «Солдат – каша из топора», можно идти в разведку, даже в такую безсрочную, как замужество.

Впрочем, вчера не сомневалась... Сегодня суета «Каша из топора» по даче, действовала на нервы, она старалась скрыть это преувеличенной вежливостью. Но горизонта её сознания Подгаецкий больше не пересекал. Он оставался за его чертой, как за колючей проволокой. Исчезла жалость, не трогало сострадание к его мукам; как тяжело оно, оказывается, давило её, а теперь она освободилась, легко вздохнула, будто из сердца вынесли тяжёлый громоздкий шкаф, и расчистили столько места... чтобы думать, думать о В. Д.

И ровно через три дня, час в час, минута в минуту, когда он вернулся со своих селигеров, Любовь, неприкаянно слонявшаяся по даче, увидела его снова на плащанице воздуха, взяла в руки сотовый, тот засветился зелёным неоновым светляком и издал испохабленную цитату из Моцарта:

– Алё!

– Алё!

И далее осеклись слова, пауза, провал. Пропать, где слов не было, и не нужны они – всё выплеснулось в этом телячьем, обоюдном «алё!».

Первым взял себя в руки Подлинник:

– Я познакомился с вашими материалами. Эх-хе, не без здравого смысла. Но многое надо обсудить...

– Послушайте, Василий Данилович, – не дышала Любовь.

– Дмитриевич, не дышал В. Д.

– ... да, извините. У меня сотовый, карточка мгновенно сгорает. Говорить – ноль возможности. Но я завтра буду в городе. Хотите, зайду?

Поразительно, что они сумели договориться о встрече, точно назвав время и место.

Они встретились на Воробьёвых горах, ушли на какую-то заброшенную набережную на задворках кремлёвских усадеб, и долго, с жаром говорили о литературе. О чём же ещё? Ника-

кой телефонной карточки не хватило бы. Литературный разговор иссяк к сумеркам, начинать другую тему, личную, назревавшую и три предыдущих дня, и в протяжении учёного разговора, никто не решался. Несницкая устала от необходимости всё время говорить умные вещи и сморозила дикую глупость:

– Ну, мне пора.

Подлинник оживился, будто обрадовался: разойтись – тоже выход из положения, и отвёз, по её просьбе, к метро, не ближнему; но у метро Несницкая из машины не выходила, тёрла лоб и повторяла:

– Я ещё хотела...

– Что?

– Не помню.

– Ну, подумайте, барышня,-миролюбиво сказал Василий Дмитриевич со своей неизменной миролюбивой улыбкой и с неизменной изысканной небрежностью закурил.

Люба вздохнула. Она забыла все слова. Спроси её сейчас, как тебя зовут, она бы растерялась.

– М-да, – изрёк Подлинник, утопая в клубах дыма, – ну, посидите минутку.

Какие уж тут разговоры.

Погасил сигарету в пепельнице и вышел из машины.

На пяточке у метро (в Европе, Подлинник свидетель, на таких пяточках размещается центральная площадь иных городков), шла, как всегда, оживлённая торговля. Киоск цветочницы в этом снующем людском рое возвышался неподвижным оазисом ярких, чужестранных московскому пейзажу, почти тропических красок. Подлинник выбрал самую красивую – чайную розу. В ней не было вызова роз красных с их претензией на роковую страсть или на душещипательную фатальность.

Он сел в автомобиль и положил розу на колени смиренно дожидавшейся его Любви. Затем отпустил её, как было заказано, у метро, ничего не спрашивая, не требуя, в почти твёрдой надежде, что заронил в её сердце огненное зерно.

4

Прежняя жизнь Любви Несницкой вертелась в привычном колесе – дача, электричка, звонки Подгаецкого, – но колесо уже двигалось по инерции, и она, прежде почувствовала, чем поняла, что скоро оно остановится окончательно и безвозвратно. С какими-то вопросами обращалась мать, вдруг отдалившаяся, отошедшая в другую, прошлую жизнь, – Люба смотрела на неё напряжённым взглядом: что ей надо? какие мелочи...

И уходила в себя, чтоб вернуться к тому моменту – теперь он высечен в граните вечной памяти, – когда она села в кожаные кресла и стала пить с В. Д. чай или когда на её колени легла чайная роза.

Откуда-то взялся Подгаецкий. Пришлось гулять с ним по лесу. О, эта дурацкая вежливость! Несницкая слушала его невнимательно, невпопад отвечала, её мучило, что предлога встретиться с В. Д. больше не было, а до начала курса она не доживёт. Подгаецкий по старому праву взял её за руку, привлёк, стал обнимать – она смотрела на него остолбенело, отворачивалась, не позволяла себя поцеловать.

– Да что с тобой? Заболела? Ты же моя...

«Странно, – с неожиданной силой отстранила его Любовь, – один и тот же человек, если смотреть на него, когда любишь и когда не любишь – это два разных человека». Почему больше не жалко Ваську за зверский плен, контузию, яму? В конце концов, в стране идёт война – дело мужчин, сотни ребят гибнут, ему ещё повезло. Ваську? Так он тоже – Василий. Она – между двух Василиев. Нет, Василий – только один. И не лучше ли честно...

– Уезжай, – сухо произнесла Несницкая, – и больше не приезжай. Не звони.

– Ты что? Встретила кого? Когда же ты успела? Я же при тебе, как на часах... Что-то мне это дело не шепчет. Ааа, понял. Ты ездила к новому руководителю. Он, что ли, тебе глянулся?

– Это всё равно. Тебе здесь больше нечего ловить. Иди, строй себе жизнь...

– Вот так вот, иди и строй. А ты мне мотор верни, из левой груди. Не дури, Любана, – он решительно притянул её, но напоролся на выставленный локоть. Она вырвалась и, спотыкаясь о коряги и коренья, придерживая косу, чтоб не запуталась в ветках, побежала прочь.

– Не ходи ко мне... если любишь, – прокричала Подгаецкому, обернувшись на ходу и закрывая лицо рукой от хлеставших веток.

На веранде уже накрыли чай. Любовь увидела это через окно, пригладила ладонями растрепавшиеся волосы и присоединилась к чаепитию. Вопросы матери «А где Вася?» она не услышала.

Она сидела за столом и видела край себя в старом зеркале в витиеватой раме, висевшем у входа. Оно всегда тут висело, и место Любы всегда тут было, как в сказке про Машу и трёх медведей, а вот, оказывается, её место не здесь, а там, с В. Д. Где он? Почему не звонит? И какой предлог выдумать, пусть белыми нитками шитый, чтоб ему позвонить? Просто сказать «какая сегодня дивная погода»? Или «не могу без тебя»? Нет! Вернее, да. Но страшно и стыдно! И какое страдание из-за этого стыда и страха! Она еле сдержалась, чтобы не подойти и не столкнуть зеркало на пол. Тогда бы оно упало и расколосось на острые осколки, как её жизнь, ещё вчера ясная, упорядоченная, с невозмутимым завтрашним днём. Одна только рама повседневности и держала их вместе, а чуть сдвинь, и осколки неприкаянно расползутся во все стороны. А пока ещё каждое зеркальце пускало ей в глаза солнечного зайчика, слепило и обжигало, и никак нельзя было разобраться, как поступить, чтобы никому – жалко всё-таки Подгаецкого, в чём он виноват? – не сделать больно, а прежде всего, самой себе. Но именно это было невозможным более всего прочего, потому что там, за острыми осколками её жизни лежала другая её жизнь, окончательная, новая, подлинная, которую она слепо искала. Жизнь

с В. Д. Их любовь и счастье. А как сказал святой падре Пий, «Где любовь, там Бог»....*И друга любити нелицемерно сотвори...*

Любовь ещё качнулась, взмахнув руками – растерянными крыльями, – и босой, гладкой ступнёй с тонкой мраморной щиколоткой и модным голубым маникюром ступила на битое стекло, не чувствуя порезов, а принимая резкую боль за острое ощущение счастья.

5

И счастье свершилось – В. Д. позвонил. Его предлог встретится... впрочем, о каком предлоге может идти речь, зачем он нужен мужчине, если за ним стоит право первого шага, данное ему природой, обществом и моралью? Это женщине надо терзаться, решаясь на этот шаг, и как не терзаться, нарушая природное право?

Несницкая и Подлинник встретились, бродили по городу, приукрашенному фонтанами, клумбами, подсветками – почему раньше они этого не замечали?, он просил читать Пушкина, сам тоже читал, нечаянно оговариваясь «любовь ещё БИТЬ может», и Любовь в данном случае звучало двояко, вспомните имя Несницкой, снова подносил ей розу, неизменно чайную, угощал кофеом, пирожками умными речами, правда, не в том менторском тоне, как в начале. Несницкая смотрела на него, как на существо особого порядка, каким Подлинник в некотором смысле несомненно был, но мы это увидим позже. Единственно, до чего развились их отношения – до того, что он подвозил Любовь не до метро, а до ворот дачи. Он держал одним пальцем руль, напевал романсы, очень даже благозвучно напевал, со стилем и в манере, и много беспрерывно курил.

До ворот оставалось каких-нибудь двести метров, а значит, через минуту они расстанутся, когда Любовь, набравшись храбрости, сказала:

– И вообще, Василий Дмитриевич, хочу вам сказать, да вы и сами знаете, что... – а дальше бензин храбрости вышел.

– Что? – вкрадчиво спросил Василий Дмитриевич.

Любовь молчала.

– Нууууууу, – разочарованно протянул он, – заинтриговала и бросила. Так не делают. Теперь договаривай.

– Но вы-то знаете! – заколебалась Любовь.

– Да ничего я не знаю!

– Ввы не зна-аете чтооо я вас люблю, – выдохнула Любовь, и душа вышла из неё; Подлинник резко ударил по тормозам, её бросило вперёд, потом назад, и она больно ударилась о подголовник.

Подлинник ожидал чего угодно, но только не этого. Он проехал мимо ворот. Остановился у леса за околицей деревни:

– Повтори, что ты сказала?

– Люблю, – одними губами произнесла она.

Только тогда он расслабился, вдохнул облегчённо, стал корить её за долгое молчанье: он-де не мог сломать лёд из-за установки «никаких романов на службе», он был счастлив и осыпал поцеуями её лицо, руки, серёжки, тугую косу, приговаривая:

– Моя Любовь... Пришла ко мне моя Любовь... да ещё какая! Несницкая! Такая мне и не снилась! И никому!

И потом, когда слова уже кончились, ещё долго не отпускал её, держа на своём плече её голову.

И как нарочно, небо, точно в азбуке романтики, было усеяно звёздами, а луна вступала в фазу полнолуния.

6

Когда Люба проснулась на следующее утро, она ничего не помнила. Будто она вовсе и не проснулась сейчас, а родилась, и пребывала в сладком блаженстве младенчества. Какой-то стук, скрип – двери, калитки – посторонний, незнакомый, напомнил о земном существовании. Голоса. Чьи? Чьи это голоса? Ах, да, матери. А мужской?

Она выглянула в окошко, а её комната располагалась во втором этаже, и увидела Подгаецкого, входящего в дом с букетом цветов, нарядно завернутых в тонкий целлофановый лёд.

Любовь окончательно проснулась. Что это он, без предупреждения... Разговоры вести будет. И в подтверждение её подозрений мать позвала снизу:

– Любочка, к тебе гость!

Она быстро оделась во что под руку попало – взгляд её упал на полузасохшую розу в пластмассовой бутылке с отрезанным горлышком: её обожгло радостным счастьем – В. Д.! – босиком спустилась по деревянной лестнице в прихожую или сени. Дверь в столовую была приоткрыта, мать улаживала цветы в керамической вазе, Подгаецкий, склонившись, прикуривал. «Как по-дворянски!», – бросилось в глаза Несницкой, и она, прихватив ближние башмаки, на цыпочках безшумно вышла на улицу.

Мимо колодца, задними огородами, через заросли уже отошедшей малины выбралась со двора и ушла в лес. Что за диво – лес! Стройные и прямые сосны уходили в небо, но и нескольких веков пути не хватило бы им, чтобы достичь облаков. Как не ломались их тонкие, хрупкие стволы при такой высоте! Эти сосны... единственные свидетели вчерашнего свидания, только они, а ночь, и луна, и звёзды ушли. Любовь разделась в кустах у пруда, она не сообразила захватить купальный костюм, но к счастью, поблизости никого не было, и, мгновенно сверкнув наготой, прыгнула в воду. Заплыв до того места, где вода доходила до подбородка, расплела промокшую косу и теперь плыла, прикрытая волоком волос, тянувшимся по воде. На берегу оделась и вышла на поляну греться на солнышке. Ушёл ли Подгаецкий? Или сидит, ждёт у моря погоды? В самом деле, не о погоде же он пришёл с ней говорить, да ещё с таким букетом. Ему нужна она, её тепло и тело, вот это, он будет её упрекать, пытаться разжалобить своей любовью, а она не может говорить о любви ни с кем, кроме В. Д. Не может стоять перед другим мужчиной, который смотрит на неё как на женщину и пусть даже мысленно срывает поцелуи в своих объятьях. Это дурно и по отношению к В. Д., и к Подгаецкому, и к ней, Любви. А к ней, кроме того, – жестоко и оскорбительно. Она – заветная. Она принадлежит только себе, пока не найдёт, кому себя предназначить... Принадлежала...

Солнце уже поднялось в зенит и стало жалить всюду, да и народу набрело купаться. Пора и домой.

– Ты где была? – встретила её мать.

Пусть каждый представит себе, как выглядит его мать, такой и будет родительница Несницкой.

– Василий битый час сидел, – продолжала она. – Василий ведь один, – цветы какие поднёс, – указала на помпезные лилии, водружённые на середину стола.

Любовь поморщилась, не взглянув; кричащий запах лилий разил в нос.

Мать отлучилась; Любовь выдернула лилии из вазы и не знала, куда их приткнуть. В чём она, собственно, виновата? Что с Подгаецким познакомилась раньше, чем с В. Д.? А женщине всё равно полагается выходить замуж? Можно только радоваться, что не успела совершить чудовищную ошибку. Не вышла за чужого, ненужного. Тогда бы страдали все трое... Но что же, однако, делать с этими несуразными лилиями? Она вышла со двора и положила их под калитку соседям.

День тянулся бесконечный. В. Д. не звонил. Почему, какие теперь у него могли быть дела важнее, чем звонить ей ежечасно, ежеминутно, быть всегда рядом, с тех пор, как они познакомились?! Чем бы Любовь не занималась, мысли были о нём. Пережить день без него – это испытание. А впереди – ночь. Это ещё страшней... Сквозь занавеску прорывалась вошедшая в силу луна и освещала комнату, подушку, на которой забылась Любовь, и отбрасывала длинную причудливую тень от засохшей на окне розы. Люба резко открыла глаза: в тишине тихо прошуршали шины, к калитке подъехал и остановился автомобиль.

«В.Д! – ударило её пощёчина по сердцу, – В.Д!» И накинув поверх целомудренней иных платьев плащ, лёгкий платок, тенью выскользнула из дома, чей силуэт лежал чёрным квадратом с пятвм углом острой крыши на бело-зелёной от лунного света траве. Её ещё удивила покорность, незнакомая, неслыханная покорность, с которой она шла... открыла калитку Василию Дмитриевичу (мог ли он не приехать?) тоже был силуэтом в зеленовато-белом свете.

Молча припали друг к другу, молча сели в машину, на сиденье Любу ждала чайная – лунная роза, не зажигая фар доехали до леса, до пруда в лесу.

Не полувидение, подвижная вода отражала луну, её сияние усиливалось вдвое и шло уже не только с неба, но и с воды. Деревья вокруг притаились силуэтами загадочных лесных существ, окутанных, очарованных этим сиянием. В эфире из машины зазвучали пульсирующие скрипки, пение про белую ночь в тёмные времена; Любовь явственно увидела эту музыку, соткавшуюся в полутень, танцующую то по глади воды, то среди зачарованных деревьев. Сама ещё не до конца проснувшаяся, тепло-медовая со сна, из которого её извлёк шорох шин, медленно подняла над головой полупрозрачный платок, он взмыл и затрепетал, будто сам был соткан из лунного света. Любовь закружилась с ним, как с живым существом, лесным духом, лесной русалкой, не чувствуя тела, двигаясь бесплотным силуэтом на фоне светящейся воды, и платок становился одушевлённым продолжением её лёгких рук, в которое переселилось полу-видение-полутень музыки.

Вся эта зачарованная лунность перетекала в добрые, родные глаза В. Д. – он курил, Любовь видела это в темноте по красному огоньку сигареты, и ей было тепло и хорошо у очага этих глаз, хорошо, что они добры и ласковы, что любовались ею, между тем, как луна, деревья, пруд оставались равнодушны к ней и холодны. Любовь отрывалась от земли и зависала над ней на долю секунды дольше дозволенного законами гравитации.

7

Откладывать дальше было некуда. Подлиннику надо было на что-то решаться. Сколько бы он не откладывал, из патологической нелюбви к скандалам, аллергии на женские слёзы и упрёки, решаться час настал.

Откладывать – только усугубляло подлость и скандальность ситуации. И не только к Эльвире, которая его прилежно ждала на проспекте вождя, но и к Несницкой, и к самому себе. Конечно, Эльвира, она прелестная женщина, святая, он ей, конечно, обязан, – это уют, стабильность, привычка и уже какой-никакой стаж совместной жизни, полтора года. Но что же делать, если только сейчас он встретил свою единственную, что же делать со всеми, кто её, в отсутствии её, не жалея сил, заменял? А он уговаривал себя, что эта очередная и есть единственная, хотя знал, знал, что это самообман, тошный, малодушный самообман в угоду своему нутру, животному в себе, нуждающемуся в теплоте и уходе, даже пусть это животное не какой-нибудь противный варан, а пушистый прекраснодушный коала. Но разве это сейчас не усугубляет всё? А с другой стороны, не мог же он вот так, годами ждать в неизвестности; вдруг она и вовсе бы не появилась. А жить-то надо. Эх. Эх. Но разве по большому счёту что-нибудь сейчас извиняет? Надо было быть бдительным тигром в ожидании, в поиске, – вот в недостатке последнего его никто не обвинит, – своей тигрицы. Одно её признание могло сбить с ног. Да такое один раз в жизни, да и то не всякому, выпадает! Ведь сколько иной раз приходится напрягаться бедному любителю щекотливых ощущений, изошряться, тратиться и изворачиваться, чтобы добиться женской благосклонности, а тем более, вырвать такое заветное признание. А тут запретный ларчик вдруг открылся сам, без особых усилий с его, Василия Дмитриевича, стороны и на дне его, на синем бархате вспыхнул бриллиант. Да, Василий Дмитриевич был ослеплён игрой его граней, не мог же он, как Онегин, строить из себя неприступного моралиста, разумника, когда он и сам едва тушил в себе желание схватить и прижать к груди эту простушку, дурочку, хоть и рефераты пишет умные. А такой неожиданный поворот подкупил и сразил его окончательно. Ну, он ухаживал за Любовью – о чём думают родители, когда дают ребёнку такое имя! – но почему же не поухаживать, если и тебе и девушке это приятно. Впрочем, какой девушке неприятно, когда за ней ухаживают? Вопрос в том, кто ухаживает. А всё, что он говорил Любви, было правдой чистейшей воды, искренним порывом воскресённого, освобождающегося от рутины сердца. И как бы всё чисто было, если бы никто не ждал его на злополучном проспекте вождя. Тогда бы и не мельтешил он сейчас в паутине жалости, сострадания и неизбежного. А всё от слабости, мягкохарактерности, добросердечия... эээхх! Ох-хо! Да ещё какое ох-хо! Сердце жмёт! За сердце хватайся! Но хватит, хватит уже промедления. Это тот случай, когда гангренозную ногу лучше ампутировать. Надо безотлагательно разобрататься, что делать и как выпутываться из этого надвигавшегося треугольника, и где, наконец, ночевать. Не всё же у товарища. У того своя жизнь. А у него... даже рубахи сменные у Эльвиры. Она ведь тоже – после сердечной драмы, тоже страдала, металась, ейный Ваня, Витя, как его там, её бортонул; вот Подлинник не столько своими заботами, сколько присутствием и помогая затянуться сердечной ране. И вот опять по едва зажившему шраму наносить удар – не по-братски как-то. И уж точно не по-медбратски. Но что делать? Чему быть, тому не миновать.

Подняв кураж такими рассуждениями, сбивчивыми и режущимися на шпагах, Василий Дмитриевич всё-таки решился ехать на проспект вождя.

Эльвира, маленькая, ладная, в свои тридцать пять лет не утратившая несколько мрачной привлекательности, с ямочками на щеках, за них Подлинник прозвал её пышкой, – и здоровой белозубой улыбкой, встретила его приветливо: из кухни шёл блинный дух.

– С икрой! С сёмгой! И, при желании, с вареньем, – прошебетала она, и весь кураж Василия Дмитриевича отступил и невнятно забормотал: «Да почему ж именно сейчас надо бить горшки? Аль светопредставление настало?» и т.д. и в таком духе.

Через пятнадцать минут Василий Дмитриевич в домашнем халате и тапочках уплетал за обе щёки масляные, воздушные блины, таявшие во рту.

Пышка суежилась рядом со свежим чаем – упрёки она оставила на потом; Василий Дмитриевич с детства питал слабость к Мопассану и жалел его Пышку за чудовищную несправедливость к ней буржуазных дядек, черноволосая Эльвира с тех пор, как он прозвал её так, казалась ему воплощением несчастной мопассановской героини. И он жалел Эльвиру и за её собственные сердечные неудачи, и за Пышку. А сейчас, по сути, он был доволен, что можно пока ничего не выяснять, не напарываться брюхом на подводные рифы, а расслабиться... после стольких ночёвок у приятеля, на узком кочковатом диванчике, когда тут, в прибранной комнате ладненько застелена мягкая широкая постелька, доволен, что в конце концов, смог влезть в свои, а не приятеля, тапочки и тёплый халат. Василий Дмитриевич как-то размяк, расслабился и выглядел сильно постаревшим, гораздо старше своих лет, из-под прядей проглянула плешь, и он несколько не был похож на орла, которым встречался с Несницкой.

8

Несницкая ошибалась: Подгаецкого взяли в плен не вследствие контузии. Контужен он был после плена, побега и госпиталя, куда был доставлен живым скелетом в стружьях и гнойниках. А как только медики, а больше медсёстры, его поставили на ноги, тошего и семижильного, то тут же снова его бросили в самую горячую точку. И в одном из первых боёв... Впрочем, он ничего не помнит; вспышка у лица, мягкий толчок в грудь – и далее, моздокский госпиталь. Открыл глаза – иииииии, пока это дошло, что он перебинтован, в гипсе, в больнице. И уж после сего воевать не послали. Какое там воевать, если любое потрясение может вызвать кровоизлияние в мозг, да и срок службы подошёл к концу. Демобилизовался – сколотил артель по отделке квартир, именно отделке, барельефами, карнизами, лепниной на потолках и росписью обманками, и дело пошло: вся Москва обстраивается особняками, а кому же не захочется иметь вид на Средиземноморье или афинский Акрополь в подмосковных-то лесах. Заказы шли по цепочке. Подгаецкий отошёл от чеченских потрясений, правда, с камуфляжной курткой не расставался, а тут ещё судьба преподнесла ему подарок – встречу с Несницкой. Всё шло как по маслу. Все ниши бытия заполнились, нигде не было бреши, пробоины. И вдруг – на тебе. Уходи, если любишь. Он не думал, что это бывает так больно. Что Несницкая заполняла не нишу, одну из ниш его бытия, а была его мотором. Этот мотор, как жизнь Кашеева, хранился на острове, на дубе, в сундуке, в утке, в яйце – иголка. Надо было столько препятствий преодолеть, чтобы добраться до этой иголки. А Несницкая так сразу, в самую середину протянула ручку свою и сломала иголку. Вынула мотор. *Спеши, душа, в объятья Бога.* От Несницкой ведь он не мог принимать мер предосторожности. Она ж родная, красивая, хорошая! Она ему нужна каждый день и вечер. Всё ведь для неё – и артель работает, и заказы, и машину он купил, и квартиру готовил, чтоб, как у людей, жениться на женщине и в дом, свой дом привести. Уж какие там обманки расписывал, купидонов на потолках. Для неё старался, для куколки фарфоровой, весёлой, умненькой. Ему-то до фонаря, он и в землянке может отсидеться, и в яме, надо было, выжил. Да и выжил он тогда, может, из-за Несницкой. Нет, тогда он её не знал, тогда у него другая девчонка была, – не дождалась его. Но он знал, что всё равно встретит Любовь с большой буквы и встретил, именно Любовь. В паспорте даже написано.

Подгаецкий запил. В результате почти полетел один заказ. А ведь на Подгаецком артель держится. У ребят жёны, дети. Целый взвод народу при нём кормится, живёт, учится. Но это – одно. Другое – после запоя начались приступы, глаза закроеет, и опять обстрел, танки, трупы, крики, пулемётные очереди и чеченцы валом валят – бородатые, потные, на расстрел ведут или начинают избиение перед молитвой. Подгаецкий кричит, просыпается, но ему это только снилось, что кричит – во рту сухо, спазмой горло свело. При Несницкой этого не было. Он пытался снять девочку, но всё кончилось тем, что дал ей чаевых и выставил. Ему не это надо, ему надо, чтоб его жалели и понимали. И любили. Она же говорила, что любит. Но как ей звонить? Если она за первым встречным побежала, потеряв голову. Бросила его, Подгаецкого, безжалостно, бессердечно, предала, изменила! Как ей верить?! Ей ведь всё равно, что он по ночам в холодном поту вскакивает, что Чечня ввалилась в его дом, что артель под угрозой. Ей всё равно. На кого она его поменяла? На червя учёного? Они же все там порченые лёгкой жизнью, пороху не нюхавшие. Ах, Любаня, что же так безчеловечно? Что? Или всё ещё образуется?

Спасибо ребята заходили, народ в артели подобрался претерпевший, остепенившийся, и забирали Подгаецкого на объект.

9

В субботу Подлинник предложил Несницкой бежать от всех до понедельника, устроится где-нибудь в доме отдыха, которыми, как малиной, усеяно Подмосковье. Любовь испугалась: что же так, по пошлomu «в номера»? Но разве с В. Д. что-нибудь может быть пошлым? Неприличным, непристойным? Разве это возможно с человеком, от которого никуда никогда не хочется уходить? Разве человек не приходит в мир ради любви? Любовь – высший резон всех поступков.

Покружив по санаториям вдоль Москва-реки и не солоно хлебавши: там занято, там дико дорого, преподавателю вуза не по карману, дешевле в Турцию на неделю слетать, Подлинник предложил другой маршрут: на Тульщину, в Поленово.

Природа хорошела по мере удаления от Москвы. Поля становились просторами, а зелень свежее и чище, несмотря на конец августа и на то, что в окно ещё робко, но уже стучала, золотая хрустальная осень.

Нигде никогда Несницкая не встречала такой ошеломительной красоты, как в Поленове. Ошеломительность её была в шёпote, тишине, в основательности всего вокруг, а не в каких-либо броских грузинских красках пейзажа или причудливых пещерно-вулканических формах, составляющих исключение на земном шаре. Поленово – это большинство, крупнейшая часть континента, оно течёт в её жилах, входит в костный состав. Как все примерные дети, Несницкая видела поленовские пейзажи в книжках по природоведению и живописи, но они даже близко не передавали той широты и размаха, той силы и мягкости, какая была в излучине Оки с ивами на песчаном берегу, лесом на берегу противоположном, небом за ним, купающимся в быстрых речных водах. Эта красота так захватила беглецов конца недели, что они забыли друг о друге.

– А деревьям-то чуть больше полста, – прокашлялся Подлинник, – здесь бои шли. Наверняка, всё было выкорчевано снарядами.

– Счастливики, – кивнула Несницкая на подъехавший автомобиль с тульскими номерами. – Жить бы здесь.

– Да, вот он, рай во вселенной. И на небе такого нет, – не мог не признать В. Д.

– Точно, нет. Посмотри, небо плывёт в реке. Оно сюда пришло, нашло свой рай.

– А мы? Где мы найдём свой рай, – В. Д. обнял её за плечи, – Любовь моя?

В окрестностях никакого рая не нашлось вообще. Пришлось рвануть в Тулу и остановиться на одной из квартир, предлагаемых предусмотрительными туляками паломникам толстовского края. Спасибо писателю земли русской: скольким своим землякам он по сей день обеспечил кусок хлеба! Так в словаре Несницкой и В. Д. появилось слово «притулиться».

Любовь сидела на стуле и наклонившись развязывала шнурок, В. Д. подошёл сзади и медленно погладил по голове, провёл рукой по косе. Любовь выпрямлялась по мере того, как его рука опускалась. Он распутал тесьму, державшую косу, медленно, бережно целую пряди, стал её расплетать.

– По-моему, – полушёпотом произнёс он, – только лысые завистники могли сказать, волос длинный – ум короткий. Это какой же ум короткий надо иметь, чтоб отрезать такую косу... такое богатство... добро... золото...

– или завистницы, – в тон ему прошептала Любовь.

– Лысые?

Оба рассмеялись.

– Мой папа говорит то же самое, – ворковала Любовь, незаметно оказавшись на коленях

В. Д. – Ещё он говорит, что короткие волосы лентяйки носят.

– И нищие, – В. Д. широко, во всю ладонь гладил её шелковистое богатство-добро-золото.

– Почему же нищие? Крестьянки на Руси всегда с такой косой ходили.

– На Руси, – согласился В. Д. – А вот наша коллега в Англию ездила на стажировку, у неё тоже коса, не такая, как у тебя, но длинная, так ей хозяин квартиры сразу сказал: а волосы придётся отрезать. На мытьё, видите ли, большой расход воды, и счётчик щёлкает педантично.

– Жмот! Жадина! – вознегодовала Любовь, тряхнув своим ржаным сокровищем.

– А от чего, ты думаешь их богатство, девочка, если не от крохоборства? – В. Д. притянул её к себе и стал целовать в ключицы.

– Ну и как... она отрезала... косу, – бормотала Несницкая, тая от поцелуев.

– Н-нет, – поцелуй, – она ходила, – мыть голову, – к Катрин...

В. Д. дошёл *до мучительного изгиба от уха до плеча*, и тут уже было не до разговоров. «Какой Катрин?» – было спросила Любовь, но поцелуй ей запечатал рот. Целовались в кровь, на стуле стало неудобно, перекинулись в альковное положение и... едва коснулись головами подушки, заснули. От напряжения, усталости, впечатлений, езды, нервов.

Любовь проснулась первой и долго смотрела на спящего В. Д., радовалась, что может смотреть, сколько душе угодно и вспоминала облака над Окой, сравнивая себя с ними.

В Ясную Поляну они не поехали; слишком поздно встали, долго раскачивались, часам к пяти только отзавтракали. Как быстро летит время, когда они вместе с В. Д.! Не до Толстого. Когда уезжали, она ещё вернулась окинуть взглядом комнату: стул, зеркало, сигареты перед ним, диван, – комнату, которая навсегда останется в её памяти. Сигареты, кстати, В. Д., надо забрать. Любовь сунула их в сумку и вышла – он уже с нетерпением ждал в машине.

Когда прощались поздно вечером, для расставанья всегда рано, В. Д. обнял её за плечи и сказал:

– У меня завал на этой неделе. Ты отдохни, отоспись. Разгребу – найду тебя. Девочка. И уехал.

10

Любовь ждала его день, другой. Что-то делала, заставляла себя встать, позавтракать, на кошу её оптимизма уже не хватало, да и зачем её переплетать, ведь заплетал В. Д., без конца подходила к окну: не шуршат ли шины, проверяла, не кончилась ли карточка в телефоне. Но шины не шуршали, и карточка не могла кончиться. Любовь никому не звонила, а когда звонили ей, она видела по определителю, что это не В. Д. и не отвечала. Несколько раз звонил Подгаецкий, но ему надлежало понять, что по этому номеру звонить больше не следует. Она ему предоставила возможность уйти достойно, не нанося ущерба самолюбию. Она ни секунды ему не лгала, полюбив другого. Не крутила мозги, не бегала на два фронта. Прямо и честно закрыла партию. Хотя и Подгаецкий, наверно, мается и не находит смысла ни в чём, как она не находит себе места без В. Д. Почему он велел ей отдыхать? Какой отдых может быть без него? Разве эти томление и маета – отдых? Отдыхать она может только с ним, даже если бы пришлось надсадно трудиться.

Зачем-то полезла в сумку и обнаружила там пачку сигарет В. Д., а в ней зажигалка, и несказанно обрадовалась: вот физическое свидетельство его существования, доказательство их свидания. Переложив пачку в нагрудный карман, ближе к телу и то и дело проверяла, на месте ли. Несницкая прекрасно знала про всякое там биополе, энергетические волны, но принимала это по принципу: веришь, что они есть, значит, они есть, а не веришь, значит, нет. Но сейчас от этой пачки с тройкой оставшихся сигарет к ней определенно шли токи. Светящейся пунктирной линией и жалили маленькими безобидными пчёлками. «Отвезти!» – осенило её. – Надо немедленно отвезти! Ему же и прикурить нечем!» Хотя зажигалка у него была в машине, и в каждом кармане, как у всякого отъявленного курильщика, завалилось по зажигалке.

Несницкая, приведя себя в боевую готовность: кожаная юбочка, полусапожки, пиджачок (а в кармане пачка сигарет), сумка через плечо, застучала каблучками на станцию к электричке. Она не видела – она ничего вокруг себя не видела: глаза ей застила икона В. Д. – как из-за киоска, бросив сигарету, вышел Подгаецкий и потянулся по пятам. Он устал звонить и ждать звонка, утром вставать и не понимать, как, чем и зачем жить до вечера, сочинять занятие, чтобы отвлечь себя от факта, что она всё равно не позвонит, не позовёт и уж подавно не придёт. Он вдруг сломался, понял, что ему надоело жить. Странное дело, когда сидел в яме, такие мысли не приходили в голову. Любой ценой хотелось жить. А вот теперь, когда всё есть для жизни... Теперь он был признателен Любане, что она сокращала ему дни – в этом можно не сомневаться, так долго он не протянет, а ему изрядно обрыдло мытарствоваться на белом свете. Он пришёл узнать, с кем она встречается и решить, решить, что-то решить для себя окончательно.

В один и тот же город, как в реку, нельзя войти дважды. Всё в нём течёт, изменяется – строится, разрушается, восстанавливается, перекраивается, чинится и приходит в упадок одновременно. На бывшем Александровском вокзале перекрыли выход из-за ремонтных работ, пришлось делать круг – по пути отмечая исчезновение прижившихся, прикипевших здесь киосков, – чтобы попасть в метро. И та же волынка на выходе станции «Университет». Пришлось разворачиваться и выходить там, куда послала стрелка, через вход.

Первое, что увидела Несницкая после всего этого кружения по подземелью, на противоположной стороне улицы был автомобиль В. Д., рядом с ним сам В. Д. с чайными розами, которые он протягивал незнакомке в широкополой шляпе и длинной юбке, целовал ей ручку и распахивал дверцу...

– Подлинник? Подлый... Нееееет! – кричит Несницкая, но крик её тонет в грохоте несущихся автомобилей и никакой Подлинник не во власти услышать его. – Нееет!

Несницкая бросается к В. Д., он этого тоже видеть не во власти, он уже в машине, машина тронулась и поехала. По всем законам физики он видеть не может и того, что за Несницкой из толпы бросился Подгаецкий, но поздно: она налетела на машину, машина на неё.

– Нееееет! – Подгаецкий схватился за голову, и его ослепила вспышка: город, улицу, женщину на асфальте; мягкий толчок в грудь – и всё оползнем потекло в черноту.

11

К счастью, к счастью ли?, Любовь Несницкая осталась жива. Её без чувств, разбитую и переломанную, доставили в реанимацию, и началась долгая битва за жизнь. Врачи совершили свой будничный подвиг и вытащили её с того света. Она висела на вытяжке, в саркофаге из гипса и бинтов, открытым оставалось только одно лицо. Но и лицо это, белое, высохшее, уже было не лицом Несницкой, а какого-то другого человека.

Врачи сказали, что, если организм справится, через год она начнёт вставать на ноги.

Узнав о случившемся, и сопоставив время и место, В. Д. понял, невольной причиной несчастья был он, раббожий, червь дрожащий, – Василий, сын Дмитриев. Ээх, за грехи наши расплачиваются невинные.

Он ходил в больницу, как на отметку в военкомат бывший немецкий солдат в послевоенном Ленинграде. Принёс однажды чайные розы, так освежившие пыльно-серые больничные стены, но лицо Несницкой стало такого же цвета, как её гипсовый скафандр, и В. Д. тут же вынес цветы из палаты, отдал старушечке, ковылявшей по коридору. К величайшему её смущению и счастью.

Он отсиживал подле опрокинутой гипсовой статуи всё возможное время, как караульный у мавзолея вождя. Объяснил, два, десять, растолковал Любви, слушавшей его широко раскрытыми глазами, что в тот день он возил Катрин, приехавшую из Кембриджа, в музей, эта Катрин опекала и его, и других мучеников университета в командировках в этой смешной и мелочной Англии, – удивительно, почему у них там стрелки на часах ещё не ходят в обратную сторону, – и нельзя, никак нельзя было бросить её одну на произвол московского водоворота. А в тот день сопровождать Катрин пришла очередь его, Василия Дмитриевича. Вот он и потащил её в Дом художника на Крымской, благо дело, там шла выставка Брюллова, а то ведь они там в своей дремучей Европе ничего, кроме Малевича да Кандинского, из русской живописи не знают.

Несницкая слушала внимательно, но всё, что говорил В. Д., больше её не касалось. Сейчас самым близким человеком ей стала Анна Герман. Когда-то и она попала в Италии в такую чудовищную аварию, и её по кусочкам собрали, она смогла потом жить и даже петь. И даже у неё родился сын. А что сможет она, Люба Несницкая, выйдя из такой мясорубки?

Владимир Дмитриевич ночевал теперь у взрослой дочери. Жена его давно вышла замуж. Подлинник не сомневался, женщина она святая, заблудшая в какой-то момент и теперь вот по-своему наказанная новым мужем; появлялась здесь от случая к случаю. С ней давно установились братские отношения, как это сплошь и рядом встречается в наш век победы коммунистического манифеста над скромным обаянием кухонь. Человечество в этом смысле, любви к ближнему, превосходит себя и своих предшественников из «Кармен» и «Крейцеровой сонаты» и любит братской, сестринской дружбой своих бывших жён и мужей, а заодно их новых детей от новых браков, братьев и сестёр своих собственных чад, новых детей, которым, они сами, по сути, доводятся двоюродными отцами и матерями, и Церковь должна будет признать и благословить это новое родство, требующее от каждого особых качеств великодушия, человечности и щедрости, ибо Церковь милосердна и смысл её бытия – восстановить мир да любовь на земле, яко на небесах.

В свете всех этих новых веяний и течений в людских отношениях и к несказанной радости своей самой любимой женщины – дочери, Василий Дмитриевич вселился в свою кровную квартиру, в самую маленькую комнату на тех же правах, на которых он вселился бы если не к матери, то к любимой тётке Свете, так звали его тётю, и блаженно засыпал по вечерам на узкой койке, свернувшись, как пёс на подстилке, и думая о Любви. Но ни она, и тем паче, ни Василий Дмитриевич не знали, что в тот день, когда её увезла скорая помощь, к метро

«Университет» подъезжала другая скорая – за Подгаецким, и след его теряется. Но в том, что случилось с ним виновата не Любовь Несницкая и не любовь к Несницкой, а виновата Чечня, та или иная чечня, непрекращающаяся в России, хотя век двадцатый сменился двадцать первым. Любое потрясение вызвало бы у Подгаецкого шоковую реакцию с кровоизлиянием в мозг. Таково было заключение военного госпиталя. Заключение, похожее на расправу в Центральной тюрьме, когда арестант шёл по коридору и не знал, что ему целятся в спину. Единственное предохранение от такого исхода – спокойная, размеренная жизнь. А можно ли представить жизнь молодого человека в России наших дней тихой и безмятежной, без шоков и потрясений?

Через год и три месяца Несницкая покидала больницу. Будто она родилась здесь, будто жизни до этих бледных, пыльно-серых стен никогда и не было. Нельзя сказать, что Несницкая изменилась, похудела или постарела. Это был другой человек: меньше, ниже, вместо косы по голове рос неровный ёжик, рука опиралась на инвалидную палку.

Василий Дмитриевич сделал единственное, что можно и нужно было сделать, – предложил ей венчаться.

– Ты спасти себя хочешь, – голос Несницкой был мёртвым механическим звуком, без цвета, вкуса, запаха, без колокольчиков и переливов, которые звучали в нём раньше, а только когда они исчезли, стало ясно, что они были. – Душу спасти запутавшуюся.

– Я давно выпутался и начал новую жизнь, ты же знаешь, вместе с тобой с того дня, как ты сюда попала, – В. Д. говорил без вызова, упрёка, но с мягкой шутливостью, чтобы Люба не думала, что он её жалеет.

– Ты жалеешь меня, – отвечала она без улыбки и без строгости. – Какая жена из калеки? Брат любит сестру богатую, а муж жену здоровую. Я не могу принять такой жертвы.

– Но я жизнь прожил, у меня уже всё было, и жена, и семья. Мне ничего не надо. Мы обвенчаемся, я буду жить с тобой, для тебя. Я этого хочу! Ты будешь моим монастырём, Любочка.

– Меня больше так не зовут. Меня будут звать по-другому. При постриге дают новое имя.

– При постриге!?

– Ты не ослышался. Я уже всё решила. Я буду молиться за нас обоих.

– А что же яааах, – он задохнулся, хотел спросить «буду делать?», а спросил, – могу для тебя сделать?

– Иди. С миром.

Любовь Несницкая стала послушницей Успенского Колоцкого монастыря. Взяли её из милосердия; никаких нелёгких повинностей послушницы выполнять она не могла, дышать ей – и то было в тягость, в груди хрипел сломанный орган. Она подолгу молилась перед иконой Божьей Матери, найденной когда-то крестьянином на дереве и исцелившей многих страждущих, молилась, но не просила об исцелении для себя. Она благодарила Бога, что он ей послал В. Д., и она своё отлюбила. Она молилась и за него. Для неё он был чист и свят, её любовь смыла с него все грехи, если они были, она их не находила. Образ его в её глазах был обрамлен лучами. И лучи эти сжигали всякую мирскую шелуху.

Приходил, слышите, приходил, а не приезжал на своём щегольском автомобиле, пешком от станции Колоочь, приходил навестить её он, раб Божий Василий Подлинник. Он тоже преобразился; в сорок-то лет стал похож на старца, Бояна вещего с длинными до плеч белыми волосами.

Любовь позвали выйти к нему, да она и без того сама почуяла его приближение, припала к узкому оконцу в стене, видела, как он мерял шагами можайскую землю, как входил в надвратную арку, осеняя себя крестом и заглядываясь на тонкую высокую башенку на крыше храма. Люба сама её любила, такую свечечку, поставленную небесам навека.

Она спряталась в стене, когда он проходил мимо неё, слыша шарканье его шагов; скомканная, оборванная кинолента памяти выдала ей шорох шин, лунную ночь, полушёпоты, сердце забилося набатом в ушах, она чуть не упала, хорошо, прижалась лбом к холодной суровой стене. Она не хотела уносить на небо никаких привязанностей, кроме как к Царице Небесной. Для того и дана жизнь, чтобы отлюбить всех, кого любить суждено. А на небо надо уходить с лёгким сердцем, не связанным никакими узами.

В. Д. всё понял. Побродил по монастырскому двору, коленопреклонился в храме, свечу зажёг и побрёл со двора, глядя своими безпросветно синими глазами в безпросветно синее небо.

Любовь Несницкая пострига не приняла. Царица Небесная раньше забрала её в свою светлую обитель.

А Подлинник ушёл в лесники, ибо Природа-мать – единственное пристанище для таких потерянных для общества, переживших высшую меру муки – обретших себя душ.

Институт растворения

1

Именно в то время, когда у Николаева пропал пес, годовалая овчарка с темным пятном на светлой морде, на улицах Милбурга стал появляться фургон серого цвета для отлова беспризорных собак.

Беспризорных собак на улицах Милбурга было не так уж много, и не такие уж они были беспризорные, потому как отирались они при общественных кухнях или добротелых консьержках, отдающих им остатки своих трехэтажных обедов. Были и собаки, на беспризорстве своем подрабатывающие. У этих имелся хозяин, бездомный наркоман с лицом усталого старика, пришвартовавшийся из какой-нибудь Скандинавии; он собирал свору из пяти-шести псов и устраивался с ними на одной из фешенебельных улиц попрошайничать, выставив перед собой клочок картона с неверной карандашной надписью: «*Бальному спидом и его читвераногим друзьям*». Собаки лежали, покорно свернувшись, подле своего благодетеля, понурившего голову на грудь, составляя с ним могучую по душещипательности кучку. Редко какая дама в норковом манто и капроновых (несмотря на сырой мороз) чулках и туфельках на каблуках проходила мимо, не поахав и не протянув дворнягам мелкую бумажку.

Но вот перед ними затормозил серый фургон, из него высыпали трое в спецовках, молниеносно сгребли собак, так, что наркоман не успел пикнуть, хлопнули дверцами и укатили.

Николаев, оказавшийся в двух шагах в хождениях за своей собакой по кличке Друган, покачал головой и пошел дальше. Он шел по улицам не ставшего ему родным города, в котором он отбыл четверть своего земного срока, и мысли его путались и играли в чехарду.

– Куда ж ты запропастился, Друган мой, Друганище? Кто подойдет и мордой об меня потрется? Розина, что ли? Или поговорить с ней можно? А толку, толку? Говорить она говорит – батарейка никогда не сядет – университеты позаканчивала, философия! Слова по-русски не знает, а туда же, разглагольствовать про философию, это ж не читав русских философов! А они не переведены. Не переведены – и не переводимы! Неадекватность языков, уже через это всем им, немцам, поступает искаженный образ нас. С языка все начинается! Человек на языке не говорит, а живет! Это на конференции, на симпозиуме можно поблистать по-иностранному, а в гараже, а на кухне я хочу говорить по-русски! А тем более в койке. Эх, Розина, Розина, лыковая корзина...

На другой стороне улицы показалась собака, Николаев не разглядел, закричал: «Друган!» и побежал навстречу. Но за собакой вышагивал хозяин, плотно упакованный в пальто на все пуговицы, и собака была не овчаркой, а спаниелем. «Пошлая собачонка», – выругался Николаев.

Друган чудился ему везде, даже болонку он мог принять за него или карликового пуделя. Да что там болонку: намедни комод за него принял! И как было обрадовался!

Николаев свернул на улицу Колоса. По случаю приближающегося Рождества ее застелили красной ковровой дорожкой, деревья в круглых каменных кадках украсили блестящими золотыми боа и электрическими свечами, ряженные Санта-Клаусы зигзагами разъезжали на роликах и раздавали прохожим рекламные листовки и пестрые леденцы в подарок от громкой фирмы, витрины сияли роскошью. Николаев шел и смотрел, как мелькают носки его ботинок.

– Прекрасная, воспетая-перевоспетая страна! Камерная банановая республика. А мне – клетка, удавка. Только что меня тут держит – туда не пускает? То, что Повольже голодает, или Розина? Курица, выучившаяся на попугая. Того она не ест, сего она не пьет – линию соблюдает, вырядится вечно, как на обложку, даже когда в нижнем белье. И тверди ей, шепчи, повторяй, какая она *бельман, фульшиён, шармиссима!* А мне эти слова – бессмыслица, случайный набор звуков! Ничего не выражают! Любая абракадабра на их месте тем же самым будет! А вот чтобы ясно сказать жене: «Красавица ты моя ненаглядная, да зацелую тебя», – такого нет. А уж это счастье! Николаев скрипнул зубами. – Друган! Друганище!

Санта-Клаусы накатывали на него и совали в руки леденцы и лощеные листовки. Он машинально взглянул на качество бумаги, а там – юная леди, бретельки жгутиком, а на глазах карнавальная маска из ломтика розовой ветчины в белых разводах сала. И прорезей для глаз, чтоб глядеть, не сделано!

Николаев поежился. Всё в этом. Всё. Они здесь просто богаты. А остальное – все фальшь. Из чего состоит фальшь? Из лжи и подлости. Но они ее видеть не могут – ветчина на глазах не велит. Эта ж ветчина и меня держит! Сволочь я, вот кто! А от ветчины и сдобы здоровье еще больше портится, чем от немашенной картошки с килькой в томатном соусе! А я – сволочь, вот кто я. Такая же зажавшаяся сволочь, как все они. Ан, попробуй, переведи «зажавшаяся». Голову сломаешь и не переведешь. Нету такого понятия на их, на медянском языке. Значит, и зажратости нету, вот в чем вся заковья!

Ковровая дорожка дошла до перпендикулярной дороги и кончилась. По дороге неслись автомобили, игнорируя ограничители скорости. Николаев поднял голову и увидел на торце дома во всю величину рекламу с юной леди в маске из ветчины. Внизу буквами в человеческий рост стояла надпись: ФЕЛИЦИТА С'ЭСТ ПАЙЕ ЗЭ МЭТА, что означало по-медянски «счастье – это когда платишь полщены».

Николаев даже рот раскрыл от такой гигантоманской пошлости и бесстыдства – раньше его хоть прикрывали!

В каком-то сантиметре от него, почти толкнув, если не собой, то воздухом от себя, затормозила длинная, с дождей мордой машина. Водитель распахнул дверцу, выставился до половины и покрыл Николаева жирной бранью, сопроводив ее жестом с пальцем вверх – мэйд ин Америка, из чего Николаев понял, что его чуть не сбили. Не переставая ругаться, водитель захлопнулся, машина возмущенно завелась и растворилась в темноте.

От мысли, что его сейчас, здесь, на чужой улице этого чужого, почему этого, города, могли сбить, переехать, как бродячую собаку (где же ты, Друган?), Николаеву сделалось не по себе и затошнило. Где бы, спрашивается, его похоронили? А где бы отпевали? А на панихиду бы кто пришел? Но он спохватился – слова «панихида» на медянском языке не существовало. Он сгруппировался: нет уж, он еще в состоянии себе позволить такую роскошь, как сыграть в ящик под собственным забором! – и повернул в сторону центрального железнодорожного вокзала.

2

Серый фургон неслышно и незаметно среди влажной зимней туманности подкатил к боковому входу второго в городе по красоте, после центрального железнодорожного вокзала, здания Клиники авангарда и остановился. Трое в спецовках позвонили в дверь Института интеграции, существующего при клинике; дверь сейчас же отворилась, и в нее внесли клетки с буянящими псами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.